





## *Вступление*

За мной, читатель! Отложи суетные заботы и силой воображения переместись в год тысяча девятьсот двадцать седьмой, в излетные майские деньки, когда зрелое очарование лета приходит на смену весенней девической свежести, когда природа, налившись хмельными соками, буйствует во всю свою неограниченную силу и когда даже в самых заплесневелых умах, в тишайших закоулках бурлит, перекипая, невесть откуда взявшаяся мощь, которая просит выхода и применения...

Представь, что у тебя есть крылья и ты, подобно соколу, можешь обозреть землю с высоты птичьего полета. Не беспокойся, я не призываю тебя выбиваться из сил и наматывать виток за витком вокруг нашей необъятной планеты. Все, что нас интересует, — малый ее участок величиной в каких-нибудь полсотни квадратных верст, затерянный в Среднем Предуралье, где стоят, одетые в хвойный и лиственный малахит, величественные

леса и где причудливо петляет река Сылва, похожая с тремя десятками притоков на разветвленный кровеносный сосуд.

Умерь взмахи крыл, скатись с воздушных сопок пониже. Видишь? — на левом берегу Сылвы, на двух холмах, раскинулось село: семьсот дворов с избами и хозяйственными постройками, пятиглавая церковь с трехъярусной колокольней, рукотворный пруд площадью никак не меньше шестидесяти гектаров. Селу — полтора ста лет, своим появлением оно обязано Демидовскому плавильному заводу, который производил чугун и лил снаряды для императорской армии. В лучшие времена здесь проживало до четырех тысяч человек — в основном заводские рабочие со своими семьями. Но в начале двадцатого века производство было признано убыточным, доменная печь навсегда потухла, и село стало приходить в упадок. Население сократилось вдвое, работяги ушли к другим заводчикам, а оставшиеся занялись земледелием и кустарными промыслами.

Поднимемся чуть выше по течению Сылвы. Что это там? Вросший в суглинок дольмен, на котором проступают начертанные охрой письмена. В доисторическую эпоху в предгорьях Урала жили первобытные дикари, охотились, строили городища и молились чему попало.

В эту пору на здешней широте темнеет в десять вечера. Солнце уже зашло, но ты зорек и сумеешь

разглядеть трех коренастых мужчин, что вышли из-под словых шатров. Они выглядят диковинно: одеты в рубахи из крапивного волокна и суконные накидки, на ногах — кожаные чоботы и короткие меховые штаны, заправленные в чулки. Нестриженные волосы заплетены в две косы, чьи концы соединены жгутом. В ушах серьги, на поясе — низки из медвежьих клыков. Ни дать ни взять — скомо-рохи, сбежавшие с ярмарки.

Но на уме у них отнюдь не веселье. Лица сосредоточенные, серьезные. Самый рослый тащит на спине куль, двое его спутников несут лопаты. И поминутно озираются — не следит ли кто? Вот они подошли к дольмену, рослый бережно опустил куль под ноги, остальные, не мешкая, принялись орудовать лопатами. Проворно вырыли яму аршина в три глубиной, отчего их косицы отяжелели, напитанные потом, а дыхание сделалось надсадным. Рослый, который, по всему виду, числился у них за вожака, распустил горловину куля и вынул из него человеческий череп. С благоговением положил его на росную траву, после чего стал выуживать одну за другой кости — плечевые, берцовые, тазовые — и укладывать их в копанку. Он действовал в строгом порядке — возвел из костей подобие поленницы, а сверху торжественно водрузил череп. Все действия производились в сугубом молчании. Рослый отшагнул назад; его товарищи,

стараясь не повредить костяное сооружение, засыпали яму рыхлой землей, утрамбовали ее, уложили сверху предварительно срезанные пласты дерна, и все трое растворились под елями — там, откуда пришли.

Летим дальше? Верстах в семи к югу от села, близ пересыхающего болота, разбросана горстка домишек-шестистенок — старых, прокопченных, без печных труб, с так называемым волоком, через который дым выходит в деревянный короб на чердаке, а потом и на улицу. В этом поселении под названием Скопино жили некогда старообрядцы. После революции, убоившись новых порядков, они двинулись за Урал, в сибирскую тайгу. Брошенные ими жилища долго пустовали — никто не желал селиться на отшибе. Однако не так давно вновь закурились над крышами серые дымки, запахло едой, заскрипели ворота колодцев — хутор воскрес, стал подавать признаки жизни.

Вот и сейчас, в ночь-полночь, он не спит. За плотно завешенными оконцами, на фоне нестойких свечных огоньков маячат тени, слышится приглушенный бубнеж. А через хутор идет человек, на вид еще диковиннее, чем те трое, что копались у дольмена. Облачен в черную рясу до пят, на голове куколь — физиономии не видно. Поверх рясы — клеенчатый фартук, а вместо креста на шее — стальная цепь с гаечным ключом. В ру-

ках — берестяной тусок и кисть из конского волоса. На вид не то поп-расстрига, не то разжалованный фармазон. Ступает вразвалочку, с осознанием собственной важности. А в домах шушукуются, прилипают изнутри к дыркам, проверченным в передних стенках сеней. Повсеместно в круглых, как монетки, щелочках помаргивают любопытные глаза — карие, голубые, зеленые...

Дырки свежие, при старообрядцах их не было. И прокручены не только для подглядки. Едва рясник-фартучник подходит к избе, как из нее через отверстие высовывается... нет, не подумай дурного... указательный перст. Кисть ныряет в тусок, бултыхается там в жидкой кашнице, а затем — раз! — шаркает по персту, и тот мгновенно убирается обратно. А комедиант в фартуке переваливается себе к следующему двору, где повторяет непонятную процедуру. К следующему, к следующему — и так до околицы.

Но не станем дожидаться, пока он закончит. Если ты думаешь, что эти места больше ничем тебя не удивят, ты заблуждаешься. Ниже по течению реки, к востоку от ее старого русла, есть темное лесистое ущелье. Никто не ведает, что занесло туда пропойцу и бродягу Спиридона Грошика (это, между прочим, его фамилия, а не прозвище). Вышел он из города Кунгура, где всю зиму занимался попрошайничеством, куда не намозолил

глаза милиции. Не желая угодить в каталажку, двинул на Урал, где и народ позажиточнее, и среди многолюдья затеряться проще. Когда-то Грошик принадлежал к трудовому элементу — батрачил грузчиком на Каме, да надорвался, а поскольку ни к какому иному ремеслу приучен не был, подался в профессиональные нищие. А что? Тоже хлеб, причем пупок рвать не надо — сделай рожу пожалостнее, сгорбись, как калека, слезу подпусти и упирай на то, что ты бывший красный боец-рубача, израненный на колчаковских или деникинских фронтах.

Спиридон шагал по пружинистому, подмытому еще не ушедшей вглубь талой влагой дну ущелья, посасывал из бутылки вонючий бурачный самогон — щедрое подношение одной сердобольной вдовы из деревни Каменка — и поглядывал на расцветенный звездами небосвод. Он еще днем сбился с дороги, но не замечал этого. Звезды переливались уральскими самоцветами, подмигивали и поддразнивали: слабó, человеце, оторваться от земной персти и воспарить ко ангелам? Спиридон был романтиком, к тому ж не безграмотным — знал, что каждая из этих переливчатых крохотулек величиной не уступает Солнцу, и колготятся вокруг них шарики, подобные нашей Земле. Он частенько задумывался: а есть ли на тех шариках прожизивальщики и какие думы обуревают их, когда они вот

так же, ночами, смотрят в небо и потягивают какой-нибудь свой инопланетный первачок...

Совсем далече занесла Грошика фантазия, а ходилки, слегка заплетавшиеся после выпитого, вывели из ущелья к горке, где явилось ему во всей красе неземное видение: откуда-то из-за утыканного кустарниками склона изливался медовый свет — яркий-преяркий, — отчего горка смахивала на чело праведника, окаймленное святым нимбом. И еще доносился оттуда ровный басовитый гуд.

Потрясенный зрелищем Спиридон истово перекрестился бутылкой с остатками косорыловки и направил стопы свои напрямик к горке. Другой бы на его месте поостерегся, а то и драпака бы задал, но Грошик был не из боягузов. С детства зудела в нем любознательность до всяких непознанных явлений.

Вдовья самогонка прибавила отваги, и он дошагал до подножия горушки. Волшебное сияние к тому времени потухло, гуд прекратился, но продолжение оказалось еще занимательнее. Из-за возвышенности вышли двое... не клеилось к ним понятие «человеки», а скорее, подходило другое, слышанное Грошиком на камском пароме от сухощавого интеллигентика в пенсне — «индивиды». Серебристые шлемы на головах, заместо личины — матовая стекляшка. Плечи, бока, ляжки — короче, все туловище обтянуто комбинезоном серебряного колера. За спиной болтаются не то рюкзаки, не



то ранцы, из них какие-то проводочки свисают. Именно так Спиридон представлял себе гостей из других галактик и шибко возрадовался, что сказочные его измышления воплотились в быль.

Но может, и нет их, индивидов? И нимба он не видел, и гудения не слышал, а виной всему свекельный горлодер, в который дура баба всыпала аммиачной селитры или чего похуже.

Грошик осерчал, хватил бутылкой об осину и, пошатываясь, побрел вперед с распростертыми объятиями и застывшей идиотски приветливой улыбочкой. Намеревался изречь «Добро пожаловать до земной юдоли!», но тот из индивидов, что смотрелся поплечистее, прогуркотел чегой-то из-за выпуклой стекляшки и вытянул перед собой десницу. Что было в той деснице, Спиридон не разглядел, ибо в наступный миг разорвался его непутевый калган на мириады мельчайших частичек, и вознеслась Грошикова душа туда, куда так настойчиво кликали ее самоцветные светлячки...

Такова она, местность, расположенная в трех дневных переездах на гужевом транспорте от Перми и в одном пешем переходе от Сибирской железнодорожной магистрали. По российским меркам — почитай, цивилизация, а эвона сколько чудес происходит! И если ты, мой читатель, еще не утратил интерес, то следуй за мной далее.

Все только начинается.



## *Глава I*

в которой слово предоставляется  
Вадиму Сергеевичу Арсеньеву

Как бы вы повели себя, если бы вас, законопослушного пассажира, ни за что ни про что ссадили с поезда, заломили руки и поволокли в кутузку? Не случалось с вами такой оказии? А со мной случилась.

Замечу, что я не просто пассажир, а штатный сотрудник особой группы при Спецотделе ОГПУ, в подтверждение чего имею документ, подписанный Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, светлая ему память. И ехал я не с тещиной дачи в Жаворонках, а возвращался из служебной командировки, где по поручению самого председателя политуправления расследовал дело государственной важности. Восемь месяцев жил в Якутии, на «полюсе холода», намерзся, чуть не утонул, мог

попасть под пулю, устал как собака, но предписание выполнил<sup>1</sup>. И с чувством глубокого удовлетворения пилил по Транссибу домой, где меня заждались друзья, начальство и невеста. Кто из них больше заждался, это еще вопрос, но сейчас нет смысла его обсуждать, потому как на захолустном полустанке между Свердловском и Пермью вошли в вагон здоровенные жлобы и велели мне следовать за ними.

Я спросил, по какому праву, а мне под нос сунули милицейские мандаты и без лишних слов — локти за спину. Жлобов было трое, и находишь мы на открытом пространстве, я бы с ними сцепился. Приемам рукопашного боя меня обучали еще в царской контрразведке, а уже при Советской власти я взял себе за правило два раза в неделю ходить в физкультурный зал при динамовском спортобществе, так что слабаком и неумехой в драке себя не считаю. Но в вагоне теснота, кругом мирные люди, в том числе мамки с детьми. А у жлобов наганы. Затеешь потасовку, чего доброго, начнут палить, попадут в кого-нибудь...

В общем, вышел я с ними на перрон, поезд мой чух-чух в Москву, а меня затолкнули в руссо-балтовский кабриолет и куда-то повезли. Я честно предупредил: ребята, у вас будут неприятности.

---

<sup>1</sup> Подробнее читайте об этом в романе Александра Ружа «Полюс вечного холода».

Я вам не шнифер и не домушник, которого можно за здорово живешь в обезьянник упрятать. Если в столице проведают о вашем самоуправстве, я вам не позавидую. А они мне: мы исполнители, у нас приказ, поэтому препираться с нами — только понапрасну атмосферу сотрясать.

— За что хоть меня взяли? — спрашиваю. — В чем обвиняют?

Но так ничего и не добился. То ли им было велено причину задержания до поры не разглашать, то ли впрямь ничего не знали, дуболомы стоеросовые. Единственное, в чем просветили, — в географических координатах. Станция, на которой меня из состава выгрузили, называлась Шумково. Судя по типовым домикам, ее лет двадцать назад построили, не раньше. А путь мы сейчас держали в райцентр Усть-Кишерть. Мне эти названия ни о чем не говорили, я здесь не бывал ни разу.

Ехали больше часа, дорога дрянная, таратайку нашу на каждом ухабе подбрасывало так, что чуть колеса не отваливались. Я думал, повезут в местное отделение милиции, уже и спич заготовил гневный — в расчете на то, что там кто-нибудь умный попадется и дотумкает, какую промашку его абреки совершили.

Было уже около полуночи, когда подъехали к кривенькому бараку, на котором висела линиялая табличка с надписью: «Уголовно-розыскной под-

отдел». За тот час, что «Руссо-Балт» трясся по буеракам, я привел свою нервную систему в равновесие. Еще посмотрим, чья возьмет!

В бараке пахло портянками и борщом. Оно и понятно: первые сушились на бечевке возле печи, а второй плескался в тарелке на рассохшемся дубовом столе и быстро исчезал, поедаемый лысым крутолобым мужиком в гимнастерке и обтрюханных галифе. На шее у мужика было намотано кашне из овечьей шерсти. Хлебная борщ, он то и дело подкашливал — гулко, как в трубу: «гхы, гхы». Нехороший кашель, бронхиальный.

Мои конвоиры остались снаружи — все, кроме одного. Он подпихнул меня к столу и прогундосил:

— Доставили.

Лысый мужик зыркнул исподлобья.

— Молодцы, клопа вам в онучи! Свободны. А ты, — это уже ко мне, — присаживайся. — И он указал черенком ложки на гнутый венский стул.

Я бы ему и стоймя высказал все, что наболело, но раз приглашают, почему не сесть? Тон у едока дружелюбный, есть надежда, что сговоримся.

Стул был единственной новой вещью в этом помещении. Сделан, как полагается, из бука, ножки слегка разведены, полукруглая спинка. Откуда в этой глуши фирменная австрийская мебель?

— Нравится? — хмыкнул лысый. — Думаешь, заграница? Гхы... Нет, брат. Это у нас в районе три

года назад артель для инвалидов войны открыли. Они эту красоту и выпускают. — И без перехода: — Борща хочешь? Мне соседка-солдатка целую кастрюлю наварила, клопа ей в онучи!

Это была его любимая присказка, без нее ему, наверное, и двух фраз не связать.

Сбил он меня с настроя своими стульями и борщом. Но я собрался, сделал обличье посуровее, ну, и выдал по полной программе. Удостоверение гэпэушное выложил, помянул, что лично знаком с Менжинским.

Лысый хлебать перестал, уронил ложку в тарелку. Козырьки бровей нависли у него над глазами.

— Что значит повязали? Вот дурошлепы, клопа им в онучи! Русским языком сказал: доставить со всей обходительностью... гхы! — И покаянно притиснул руку к широкой груди. — Ты прости, Арсеньев, я этих недоумков взгрею как полагается. По уму я сам тебя должен был встретить, да поясница разболелась, чтоб ее... — Он, кряхтя, приподнялся, потер копчик. — Это у меня с войны, в Галиции, в окопах, застудил. С тех пор прихватывает... И дышалку там же посадил — фрицевских газов надышался. Чуть подпростыну — кашель из самого нутра лезет... гхы, гхы!

Я-то знал, что такое германские газы — сам нюхнул их еще мальчишкой, в пятнадцатом году на фронте. И злость моя помалу улетучилась, понял я,

что лысый — не подлец, не крыса канцелярская, из тех, что шаровары в кабинетах просиживают и росчерком пера людей без разбора в расход отправляют. И коли меня сюда притащили, значит, повод не пустячный.

— Вы кто? — спросил я уже без гонора. — Из угро?

— Бери выше.

Он выложил передо мной бумагу с броской шапкой «НКВД РСФСР». Пониже значилось: «Центральное административное управление». Об этом ведомстве я был наслышан — нашей конторе оно не подчинялось, но тоже было достаточно влиятельным, так как объединяло в себе и Главупр милиции, и Центроорозыск, и административный надзор, и ведомственную охрану, и даже адресные столы.

Лысого, судя по документу, звали Егором Петровичем, а фамилия его совершенно не вязалась с внешностью — Кудряш. В графе «Должность» значилось: «Субинспектор первого разряда». По советской табели о рангах это приравнялось к заместителю начальника регионального управления. Сидеть бы ему в Перми, по месту служебной прописки, но нет — лично прибыл в медвежий угол, невзирая на болячки. Это еще больше убедило меня в том, что дело не второсортное.

А он как будто мои мысли прочел, усмехнулся:

— Гадаешь, за каким арапом я сюда приперся? — Он назидательно поднял палец и процитировал, как по писаному: — «В число главнейших функций ЦАУ входит выезд на места для помощи коллегам при наиболее сложных случаях». Вот я и выехал.

Тут уж настала пора расставить, как говорится, все точки.

— А что за случай? Действительно сложный? Я ни сном ни духом...

Егор Петрович запустил ложку в капустную мешанину, причмокнул.

— Был бы простой, я бы тебя с поезда не сдернул, клопа тебе в онучи. Тут, брат, еще в том сложность, что материи затронуты... гхы... не совсем для меня ясные. Я в этой Усть, мать ее, Кишерти уже пятый день торчу, разобраться пытаюсь. А как узнал, что через Шумково едет спец по всяческой чертовщине — ты то есть, — понял: вот он, подарок фортуны! Ну и послал архаровцев тебя выцепить... Да ты не серчай, все по форме. У меня и разрешение есть, глянь. Черным по белому: «Передать товарища Арсеньева В. С. в целях оказания консультативного и иного содействия в распоряжение товарища Кудряша Е. П. вплоть до исчерпания необходимости в оном содействии».

Он выложил на обозрение еще одну бумаженцию, поменьше первой. Я разобрал под текстом,



переданным по факсимильному телеграфу, подпись начальника Спецотдела ОГПУ Бокия.

Ишь ты, подсуетился! Бывалый, все предусмотрел. Но откуда узнал, что я еду в этом поезде? О моей командировке в Якутию были осведомлены только в Москве, на самом высоком уровне. С дороги я отправлял депеши своему непосредственному начальнику Барченко. Его почта, равно как и телефоны находились под контролем Генриха Ягоды, который в прошлом году перепрыгнул в кресло первого зама председателя ОГПУ. Выходит, у пермского субинспектора в нашем московском аппарате имеются осведомители?

Спросить бы напрямую, но он воробей стреляный, откровенничать не станет. Ладно, отложим. На повестке дня другое: для чего ему понадобился спец по чертовщине?

— А вот для чего. — Лысый Кудряш доел борщ, выскреб тарелку подчистую и облизнул ложку. — С полгода назад стали нам из Кишертского района сигналы поступать. Мы на них попервоначалу внимания не обращали, списывали на предрассудки и невежество населения. Но неделю назад Птаха сообщение об убийстве прислал...

— Кто прислал?

— Участковый надзиратель. Он один на весь район за порядком присматривает. А площадь, я тебе скажу, немаленькая, клопа ей в онучи. Пта-

ха — башковитый, пронырливый... Да ты сам увидишь, я вас завтра сведу.

— А что за сигналы поступали? — уточнил я. — Кто-то в пруду чудище увидел или кикиморы в лесу завелись?

Все это живо напомнило мне обстоятельства моей сибирской поездки. Там тоже начиналось с таких же нелепых на первый взгляд сигналов. А закончилось трагедией. И черти с лешими были совсем ни при чем.

Егор Петрович прокашлялся, поплотнее закутал кадык.

— Не чудища, нет. Огни... гхы, гхы!

— Какие огни?

— Разные. Мельтешат за деревьями, а еще жужжит что-то. И человечки являются.

— Человечки?

Я, по правде сказать, решил, что он меня разыгрывает. Проверяет, насколько я глупый и легковерный.

Но лик у товарища Кудряша оставался каменным, хоть слова, которые он произносил, звучали одно другого несуразнее:

— Да, человечки. На головах то ли коконы, то ли еще чего. Костюмы одноцветные — кто говорит, серебром отливают, а кому зеленое с синим мерещится...

— Так, может, и правда мерещится? По деревьям столько непросвещенного народа живет...

Если каждой сплетне значение придавать, то никакой милиции не хватит.

— Так-то оно так, — вздохнул Егор Петрович, — но что ты на это скажешь? — И он подsunул мне писульку, нацарапанную фиолетовыми чернилами.

Я начал читать. Составлено было безграмотно, с ошибками, но легко было определить, что писавший состоял на государственной службе и имел знакомство с казенными речевыми оборотами.

«У падножья Змеиной горки абнаружено тело гражданина, — проговаривал я про себя, продираясь сквозь покосившийся частокол букв. — Состояние как есть мертвое. На левой щеке ожоговое питно, прочих павреждений не фиксируецца. Гражданин имел босые ноги, портки с дырьями, кафтанье старорежимнаго покроя и катомку с весчами, перечень коих прилагаю...»

Далее следовал длиннейший реестр: ломоть зачерствелого хлеба, обклеенная папиросной бумагой губная гармоника, клубок ниток, фарфоровая статуэтка голой женщины с отбитыми верхними конечностями, пустое портмоне крокодиловой кожи, бусы из дешевых кораллов, батистовый платочек...

Дочитывать я не стал, вернул писульку лысому.

— Что за грамотей это накалякал?

— Птаха. Ты его не брани, у него до революции вовсе образования не было, а нынче только второй

год на ликбезовских курсах учится. И то некогда — работа покоя не дает, клопа ей в онучи... гхы!

— И что это за гражданин такой с босыми ногами и голой женщиной в котомке?

— Личность установлена. Попрошайка, мелкий вор. Мыкался по Руси, лоботрясничал...

— Но кто его так? И за что?

— А вот это, брат, наиважнейший параграф. — Егор Петрович натужно встал из-за стола, распрямил позвоночник, принялся расхаживать взад-вперед по комнате. — Убитый, по нашим сведениям, ничего из себя не представляя, забрел сюда случайно, клопа ему в онучи. Змеиная горка от жилья далековато, там-то этих человечков и видели чаще всего...

— Хотите сказать, босяка убили, потому что он подглядел то, что видеть не полагалось?

Егор Петрович был старше меня лет на двадцать, и у меня язык не поворачивался называть его на «ты».

— Именно. Все, кто до него с этими аномалиями сталкивался, бежали без оглядки. И видели только издалека, внимания к себе не привлекали... гхы, гхы! А он, чай, пьян был. Птаха в можжевельнике разбитую бутылку подобрал, сивухой разит... Мыслю я, что не осознал он опасности, дурость какую-нибудь выкинул, его и шлепнули.

— Следы чьи-нибудь были?

Во мне пробудился профессиональный азарт, хотелось сразу взять быка за рога и показать, что с выбором консультанта Егор Петрович не ошибся.

— Какие следы, клопа им в онучи! — Он кволо отмахнулся. — Трава высоченная, лишайник... разве что-нибудь разглядишь? — Сделал паузу, хитро мне подмигнул. — Вижу, втягиваешься. Завтра Птаха придет, все тебе по полочкам разложит. А покамест давай спать.

Поставленная задача меня заинтересовала, хотя все еще грызла досада, что в ближайшие дни не попаду в Москву. Вдобавок заключительная реплика напомнила мне о нерешенных бытовых проблемах.

— Где же я приткнусь? У меня здесь ни кола ни двора...

Егор Петрович поскреб зашеек.

— Я у солдатки живу, но у нее халупка с мышиную нору, ты не поместишься. А знаешь... гхы... переночуй здесь. Шинельку на полу постелешь, как-нибудь перекантуешься.

Я не из брезгливых, но валяться на замызганном полу, где сновали полчища тараканов, мне не улыбалось. А если с утра сюда кто-нибудь из сельских служивых зайдет — тот же Птаха? Споткнется об меня, как о последнего забудыгу, — что подумает? Вся моя репутация псу под хвост.

— Нет ли сеновала? Я бы там...

Домямлить мне не дал женский крик, что долетел с улицы. Заполошный, режущий уши.

Егор Петрович вострепнулся, хапнул лежавший на подоконнике револьвер.

— Никак бандюки?!

У меня оружия не было. В Сибири взамен утраченного в бою табельного «ТК», достался мне трофейный штатовский кольт. Но он показался мне тяжелым, и я подарил его якутскому начмилу Полуяхтову.

Егор Петрович выскочил из комнаты, я за ним. Отсиживаться, когда рядом на кого-то напали, — себя не уважать.

Снаружи царила ночь, во всем поселке — ни единого фонаря, лишь кое-где мерцали окошки. Для меня это не имело значения, я в темноте вижу, как кошка, но Егор Петрович заругался:

— Клопа мне в онучи... надо было керосинку взять!

— Не надо! Вон он! — Я показал ему на плюгавого мужичка, который улепетывал по улице. Позади него, справа, мотылялась на ветру распахнутая калитка — свидетельство того, что выскочил он оттуда, а не из другого двора.

— К Липке лазил, стервец! — определил Егор Петрович. И пояснил на бегу: — Училка там живет, из профшколы. Олимпиадой звать.

Спринтер из него был неважнецкий — уже через десяток шагов сбилось дыхание, и поясница наверняка давала о себе знать. Кривясь от боли, он вытянул руку, выпалил по убежавшему. Мимо.

— Дайте! — Я выхватил у него револьвер, прицелился.

Мы поравнялись с раззявленной калиткой. Из двора выметнулась фигурка, закутанная в белую оренбургскую шаль, и повисла у меня на предплечье.

— Не стреляйте! Он не бандит!

Этот голос мы слышали полминутой раньше, но интонация была уже не испуганно-истощенной, а умоляюще-требовательной. Я повернул голову и увидел, что в меня вцепилась красивая на вид барышня лет двадцати пяти. У нее были огромные — со страху? — васильковые глаза и две русые косы, свисавшие до пояса. От порывистых движений шаль размоталась, и я мог рассмотреть впечатляющие прелести — от стройных ножек, обутых совсем не по моде в бесформенные опорки, до ямочек на шее, над бугорками, натянувшими сатиновую блузку. Барышня мне понравилась, я опустил наган, и мужичонка, одетый, как мне почудилось, в звериные шкуры, благополучно смылся.

— Липка... ты? — выдохнул Егор Петрович меж приступами кашля. — Гхы, гхы! Кто это был?

— Санка. — Барышня отцепилась от меня и, судя по всему, застыдилась своей экспрессивности, а того пуще, легкомысленного одеяния. Подтянула шаль, запеленалась в нее и поглядывала на меня сторожко. Оно и понятно — виделись мы впервые.

— Какая еще Санка? — переспросил Егор Петрович и отобрал у меня револьвер, который я бессознательно норовил припрятать за поясом.

— Не какая, а какой, — разъяснила она с истинно учительской наставительностью. — Вогул. Да вы его знаете, он почту помогает развозить.

— А, этот... А чего орала? Лапал он тебя, клопа ему в онучи? Тогда и пристрелить не жалко, зря помешала...

Олимпиада порозовела, еще теснее запахнула шаль на груди. Фыркнула с обидой:

— Никто меня не лапал! Вот! — Она вернулась во двор, мы поневоле потянулись за ней. — Видите?

На ветке осины, что росла у плетня, висела привязанная веревкой за задние лапы тушка какого-то зверя. Я сначала подумал, кошка или собака, но оказалось — заяц. Его длинные уши тонули в некошеной траве.

Егор Петрович насупился.

— Что за язычество? Вогулы у тебя в усадьбе капище устроили... гхы, гхы?..

На миловидном лице Олимпиады нарисовалось выражение недовольства.

— Все не так! Вогулы — они не троглодиты, какими вы их воображаете. Санка и еще двое ко мне в школу приходят, я с ними русским языком занимаюсь. Знаете, какие они усердные! Не чета пролетариям, с которыми я каждый день бьюсь.



Зубрят, как первоклашки, причем не как из-под палки, а...

Тут она сама себя остановила, решив, видимо, что слишком заговорила. Егор Петрович глядел на нее строго, ее филиппика его не убедила.

— Ты мне пролетариев не понось! Я сам до войны слесарничал, но и в школу ходил, не забрасывал. Потому и в люди выбился, клопа мне в онучи! А эти твои... усердные... по сию пору идолопоклонством занимаются! — И он в сердцах сорвал зайца с осиновой ветки.

Я прислушивался к их перебранке, и мне надоело отмалчиваться.

— Вогулы — это кто? Народ?

— Малочисленный, — с неохотой произнесла Олимпиада. — Их тысяч пять на весь мир. Их не гнобить надо, а... — Опять прервалась. Помолчав, начала с нового разгона: — Они в основном на севере живут и ближе к Тюмени. У нас их мало.

— Лучше б вообще не стало! — Егор Петрович не унимался, бурлил, как полноводная река. — Вот скажи: что этот Санка со своими дружками здесь забыл? На работу не устраиваются, жительствоуют по лесам, как волки какие. Подножным кормом питаются... гхы, гхы!

Олимпиада вздернула плечико.

— Они так привыкли, это их традиционный житейский уклад. Со временем перестроятся, нач-

нут жить по-другому, и тогда... — Пауза. — А зайца Санка мне в благодарность за обучение принес. Они мне еще в школе разные лесные дары всучить хотели, но я не брала. Вот он и принес тайком, привязал к ветке. А я услышала, вышла во двор. Не разобрала, что к чему, вскрикнула, а он...

И умолкла окончательно. Мне подумалось, что ее манера говорения — следствие профессии. Когда в классе гам, поневоле часто прерываешься, особенно если голосовые связки не настолько сильны, чтобы перекрыть всех галдящих разом. А выстраивать предложения коротко она не привыкла, не тот склад ума.

Егор Петрович поутих, повертел заячью тушку, протянул Олимпиаде.

— Раз так, держи. Да не кобенься, клопа тебе в онучи! Еда в доме не помешает, к тому ж у тебя теперь постоялец прибавится.

— Какой еще постоялец? — вскинулась Олимпиада.

— Этот, — он ткнул в меня. — Знакомься, товарищ из Москвы. Отряжен по госнадобности. Притулиться ему негде, а у тебя изба большая, разместиться... гхы, гхы!

Такого поворота я не ожидал. Потянул Егора Петровича за рукав: мол, ты чего меня конфузишь, чертяка безволосый! А он будто и не заметил, гнул свою линию:

— Характеристики у Вадима Сергеича положительные, шалостей ни себе, ни другим не позволит, я за него ручаюсь, клопа ему в онучи. Плату заистой мы какую-никакую изыщем, а тебе и спокойнее будет, когда такой орел под боком.

Вогнал старый хрен в краску и меня, и девушку. Гляжу, она уже шаль к лицу потащила, хочет закрыться ею, как поработенная женщина Востока паранджой.

Пора, думаю, и мне слово молвить.

— Егор Петрович, давайте я все-таки на полу в кабинете. Не будем ограничивать личное пространство товарища... простите, не знаю фамилии...

Но он не стал меня слушать, выкашлял с раздражением:

— Советская... гхы, гхы... власть в моем лице приняла решение, изволь подчиниться! И запомни: ничего личного в нашей стране давно нет. У нас все общественное. Так что шагом марш на ночлег, а завтра в девять утра чтоб был у меня как штык. Ясно выражаюсь?

— Так точно.

— Вот и хорошо. Счастливых снов.

Взглянул я беспомощно на Олимпиаду: возрази что-нибудь, если не хочешь меня терпеть у себя в квартирантах. Но она потупилась, промолчала. Не иначе Егор Петрович своим мандатом и власт-

ным видом навел мандраж на все село, никто не смел ему перечить.

Ушел он. Олимпиада, не глядя на меня, проговорила:

— Что ж... Идемте, покажу, где вы будете спать.

И направилась к дому. Шла плавно, покачивала бедрами, и я помимо воли залюбовался ею. Столько грации, пластики... одно слово, пантера! Ей в кино сниматься, Голливуд покорять, а не в уральском закуте чернотропов грамматике обучать.

Изба у Олимпиады была по деревенским меркам немаленькая, в четыре окна по фасаду. Это как минимум две горницы, не считая сенцов. Но внутри она меня не повела, показала на приставную лестницу, что вела на чердак:

— Полезайте. Там солома, будет мягко. А я сейчас рядом принесу.

И на том спасибо. Залез, огляделся. Чердак просторный, по углам — как и обещано — соломенные снопы. Дыр в крыше немного, от печной трубы идет тепло. Номер люкс, как сказал бы мой друг Макар Чубатюк.

В проеме показалась моя новая хозяйка. Подсвечивая себе керосиновой лампой, она протянула мне рядом, оказавшееся домотканым покрывалом.

— Вы есть хотите?

— Нет, спасибо, сыт.

Это я соврал. В последний раз перекусывал еще в поезде, пирожками с ливером, купленными у станционной торговки под Свердловском. От кудряшовского борща отказался, и теперь под ложечкой сосало. Но напрягать Олимпиаду, которую и так вынудили подчиниться начальственному призыву, я посчитал неуместным.

Расстелил рядом на соломе, скинул шинель, пристроил валиком в головах вместо подушки. Получилось вполне комфортное ложе.

Олимпиада следила за моими действиями, не уходила, и мне это почему-то было приятно. Будь я бабником, пожалуй, не утерпел бы, приударил за ней. Чудо как хороша! Но меня в Москве суженая дожидается, и не в моих привычках на первых встречных красоток кидаться.

А вот порасспрашивать ее не мешает. В памяти, как заноза, засел рассказ Егора Петровича об огоньках и человечках. Мне ведь теперь эту бесовщину расхлебывать... А Олимпиада — девица образованная, в крестьянские басни вряд ли верит. Вдруг что дельное подскажет?

Но зашел я с другого боку:

— Скажите, а вогулы... вы их обычаи хорошо знаете?

Она смерила меня подозрительным взглядом.

— А что вам до них?

— Ничего. Просто так спрашиваю.

— Не просто... Вас сюда прислали из-за всех этих происшествий?.. — Она замялась. — Ну, буд-то у нас в лесах нечисть видят... а на днях мертвеца нашли.

Проницательная! Коли так, то и смысла нет ходить вокруг да около. Я подтвердил ее догадки. Она взволнованно зачастила:

— Вы на вогулов думаете? Это вам Кудряш подсказал, да? Не верьте! Вам про них столько небылиц наплетут... Что они своим богам людей в жертву приносят, что в православных церквях иконы медвежьей кровью мажут, что настойку из мухоморов пьют и оргии устраивают, что... — Пауза. — Но это все наговоры! Вогулы во многих отношениях порядочнее нас с вами, но им культуры не хватает, просвещенности. Для них национальные школы надо создавать, чтобы они и корни свои не теряли, и при этом шли к свету, а не... — Пауза. — Что до лесных огней и прочего, то они сами их боятся. Мне Санка говорил, что это менквы шалят.

— Менквы?

— Оборотни. Они в густых зарослях живут. Вогулы верят, что Верховный Дух, когда человека сотворял, немного недоработал, и первый образец вышел плохо. Это и есть менкв, который потом в лес убежал, и от него другие пошли, а потом... — Пауза. — Видите, как у них все запущено.

Эмоции в ней через край бьют, подумал я. Темпераментная! С такими проще — они не умеют держать в себе секреты, излагают начистоту.

— Но тогда, может быть, ничего этого на самом деле нет? Ни огней, ни человечков серебристых... Привиделись вашим вогулам менквы, отсюда и молва пошла. А тот оборванец от апоплексии коньки отбросил.

Олимпиада потемнела личиком, отрицательно потрянула косами.

— Нет. Я сама видела... и огни, и серебристых... Это не выдумки. И еще кое-что попадалось, но не скажу. Все равно не поверите. Спокойной ночи.

Ничего более не добавив, она ссыпалась по лестнице.

Я заперся изнутри и лег на подстеленное покрывало. На чердаке было уютно, прорехи обеспечивали достаточную вентиляцию, а печная труба — обогрев. Что еще надо для безмятежного сна? Но уснуть получилось не сразу. Мешали насекомые, заставившие вспомнить любимое выражение Егора Петровича, а пуще того беспокоили неотвязные думы о событиях, приведших меня к уральским отрогам. Хотя что было о них думать? Аналитического материала у меня — на комариный чих. Какие-то мутные рассказы, безграмотная докладная участкового надзирателя, вогульские мифы... На столь шатком фундаменте достоверную теорию

не построишь. А значит, и мозги ломать незачем. Будет день, будет и пища, как говаривали наши политически отсталые, но неглупые предки.

Я унял народной мудростью свою разгулявшуюся фантазию и кое-как уснул. Сон, однако ж, сморил меня только наполовину — я видел размытые картинки, туземцев в отрепьях, рогатых сатиров, от которых исходило серебряное сияние, но продолжал слышать все, что творилось вокруг. Вот половицы в горенке всхлипывают, вот шажочки в сенах, лясканье ключа... Куда собралась моя хозяйка в неурочный час? Глянуть бы, но истома сковала мышцы, лень стряхивать ее с себя, пробуждаться. В конце концов, кто я тут — надсмотрщик? Знаком с Олимпиадой без году неделя, и нет мне заботы до того, где и с кем она коротает ночи...

\* \* \*

На рассвете в дверь чердака загромыхали кулаки, и сквозь щели просочился зычный голосина Егора Петровича:

— Эй, консультант! Дрыхнешь? Вставай, клопа тебе в онучи!

Я поднял голову от шинельной скатки, но не сразу пришел в себя после сонной одури.

— Что... уже девять? Я проспал?

— Нет... У нас чэпэ. Вылазь, расскажу... гхы, гхы!



Я по-армейски шустро засупонился и спустился во двор, где обнаружил вместе с Кудряшом долговязого милиционера с румяной физией и растрепанной шевелюрой.

— Птаха, — представил его Егор Петрович. — Получил сегодня сранья донесение от трудового крестьянства. Сейчас изложит.

Надзиратель отреагировал судорожным кивком и завел испорченную пластинку:

— Н-н-н-на к-к-к-лад-д-д-д-б-б-б...

Егор Петрович прервал досадливо:

— Да не мычи ты, клопа тебе в онучи. Давай как заведено.

Птаха выудил из кармана галифе белую грифельную досочку и угольным карандашиком начал что-то на ней писать.

— Контуженый, — сочувственно прокомментировал Егор Петрович. — Снарядом шарахнуло, мало в посмертные списки героев не угодил... гхы, гхы... Ничего, оклемался, только зайкой стал.

Участковый повернул дощечку так, чтобы мы могли прочесть написанное.

«На кладбисче магилу разрыли, украли пакойника», — разобрал я куропись, знакомую по вчерашнему докладу.

— Что за могила? Поподробнее можно?

Птаха замахал крыльями... пardon, руками. Разразился клетотом:

— Т-т-т-там м-м-м-от-т-т-т...

— Он все на месте покажет, — перевел Егор Петрович. — У него мотоциклет есть, живо домчим.

Техническая оснащенность усть-кишертской милиции меня подивила. Я рассчитывал на телегу с клячей, а тут нате вам — британский «Блэкберн» с рессорной рамой, трехступенчатой коробкой передач и слегка разболтанной, но сохранившей свою целостность коляской. А впрочем, есть же у них автомобиль — тот, на котором меня вчера с ветерком прокатили от станции. Почему бы не быть и мотоциклу?

— Откуда богатство?

— У Колчака отбили. Птаха — не смотри, что увечный. У него руки откуда надо растут, клопа ему в онучи. Подлтал, подшлифовал... Бегаёт машинка! Гхы, гхы...

Взгромоздились мы все втроем на механическую конягу, Птаха нацепил очки-консервы, ударил по газам, и колеса с пневматическими шинами пошли наматывать деревенскую грязь. «Блэкберн» за считанные секунды разогнался верст до тридцати в час. Мог бы бежать и быстрее, но сметливый надзиратель не увеличивал скорость — учитывал рельеф местности. Мне досталось заднее сиденье, и я подсакивал на нем, будто участвовал в техасском родео. Егору Петровичу, сидевшему в коляске,

приходилось не легче — на каждой колдобине он постанывал, бранился и сплевывал за борт.

Райцентр мы проскочили молниеносно и ворвались в изумрудные облака березовой рощи. За ними потянулась луговина, она сменилась болотными кочками. Венец путешествия — заросший погост с перекошенными крестами и ободранными памятниками, на которых виднелись выбоины от пуль. Под Пермью, как я читал в новейших учебниках истории, шли жестокие бои с белогвардейщиной. Не обошли они стороной и местечки вроде Усть-Кишерти.

Участковый Птаха заглушил двигатель и затахтал:

— П-п-п-п...

— Приехали, шабаш, — закончил за него Егор Петрович и выпростался из коляски.

Да, поездка далась ему тяжело. Он долго стоял, скособочившись, массировал свои филейные части и откашливался. А я тем временем смотрел, куда это мы прикатили. Могилки производили впечатление заброшенных, нигде не видно свеженасыпанных холмиков, а лопухи над гробницами кое-где вымахали на целый метр.

— Это старое кладбище, — прокряхтел Егор Петрович, через силу разгибаясь. — На нем, почитай, лет двадцать не хоронят. — И со скрежетом поворотился к Птахе. — Где, говоришь, разорили?

— Т-т-т-т-т...

— Понял, найдем.

Следуя указаниям надзирателя, мы перешагнули через поваленную ограду, продрались сквозь репейник и очутились возле разоренного захоронения. Чернела выкопанная яма, подле нее валялся столбик с треснувшей перекладиной, там и сям были раскиданы куски гранитной плиты.

— Кувалдой поработали, ироды, — заключил Егор Петрович. — А то и ломом, клопа им в онучи.

Я недоумевал. Чего ради кому-то вздумалось курочить старую могилу и почему субинспектор ЦАУ посчитал это событием, достойным внимания сотрудника ОГПУ?

Первым делом надо было установить, кого, собственно, вырыли. Карандашик Птахи затанцевал по доске, и вскоре мы узнали, что имя погребенного было Кушта, в православии Константин, происходил он из вогулов, в эру махрового царизма считался у них главным вождем, шаманом, гуру и прочая и прочая. Вогулы со своими оленьими стадами вольготно кочевали с севера на юг и с востока на запад, Кушта умело направлял их к пастбищам, предостерегал, лечил от болезней снадобьями и предсказывал погоду. Но однажды этот великий человек объявил, что на него снизошла благодать и он не желает больше поклоняться идолищам, а переходит в лоно истинной религии. Вопреки

уговорам он отбился от племени, осел в Усть-Кишерти, принял крещение и до конца своих дней юродствовал на паперти. К его надгробию пару лет паломничали как христиане, так и бывшие сородичи, но насаждение здорового атеизма положило конец поклонению, и народная тропа стала зарастать.

Однако сыскался некто, дерзнувший потревожить позабытые мощи.

— В гробу имелись ценности? — приступил я к дознанию по всем правилам.

Птаха отписал, что не только ценностей, но и гроба как такового не было. Кушту-Константина похоронили самым бедным чином, поскольку из частной собственности при нем не нашли ничего, кроме ветхих обносков.

— Так чего ж ты тогда бучу поднял... гхы, гхы? — запыхтел Егор Петрович. — Растолкал меня ни свет ни заря, клопа тебе в онучи...

— С-с-с-с-с... — просвистел Птаха, и его карандашик вновь забегал по дощечке.

Оказалось, участковый через своего фискала получил уведомление о том, что вогулы готовят ритуальное действо — не исключено кровавое, — и произойдет оно нынче ночью, в разгар полнолуния. Птаха не сомневается, что осквернение могилы — часть подготовки к этому ритуалу. Поэтому и оповестил нас со всей возможной поспешностью.

Если он рассчитывал на поощрение, то чаяния его не сбылись. Егор Петрович не то что не похвалил, а еще и напустился на него, как на нашкодившего гимназиста:

— Клопа тебе в онучи! Видно же, что этого юридивого неделю с лишком как вынули. Вон и вода в ямнице, и земляца успела травинками подернуться... Какого бельмеса ты только сейчас зенки продрал... гхы, гхы... когда уже давно надо было всех твоих архаровцев в ружье подымать!

«Дажди шли, — зачирикал обруганный Птаха. — Дароги непролазные, не падайти. Никто не видал».

— Остолоп! — отгрузил ему Егор Петрович уже менее злобиво и, прихватив ладонью поясницу, присел на корточки. — А следок-то отпечатался... Почем знаешь, что вогульский?

Я тоже заметил оттиски подошв возле разоренного погребалища. Обувь явно не фабричная, скроена вручную из кож, грубые стежки отобразились четко. Птаха указал Егору Петровичу на особенности индивидуального пошива вогульских сапог. Тот, насколько я смог понять, уже пришел к каким-то выводам, соизмерил их с услышанным, согласно покивал.

— Вот же ж нехристи, клопа им в онучи... А филер твой не донес ли, где они на свою гулянку собираются?

— У к-к-к-к...

— У камня? А, ну это я знаю... гхы, гхы... — И, поймав мой вопросительный взгляд, разжевал для непонятливых: — Есть такой камень, он у вогулов священным считается. Они когда оленей своих по Уралу гоняли, всегда возле него стоянки делали.

— Далеко отсюда?

— Верст сорок по прямой. На драндулете быстренько домчим.

Но помчали мы сперва не к камню, а назад в райцентр. Умудренный жизнью Егор Петрович рассудил, что перед тем, как пускаться в экспедицию, которая может затянуться надолго, лучше всего перекусить. Он еще не завтракал, а я и не ужинал, поэтому возражений его слова не вызвали. Мы вернулись в подотдел и на троих прикончили остававшийся в кастрюле вчерашний борщ, который был воистину хорош. С солдаткой Егору Петровичу повезло.

За едой я выдвинул гипотезу, сформировавшуюся еще накануне: не являются ли все эти паранормальные видения — огоньки с серебристыми миражами — хулиганством вогулов?

Егор Петрович выслушал, прочавкал скептически:

— На кой им ляд хулиганить?

Я сослался на свое участие в экспедициях, исследовавших малообжитые земли. Коренные на-

родности, проживающие на определенной территории, не любят, когда к ним приходят чужие, в особенности иноверцы, и разными способами стараются их вытурить. Сделать это силой получается редко, и в ход идут всевозможные ухищрения: обман, запугивание и так далее. Может, и вогулы таким макаром норовят прогнать русских из своей вотчины?

— Сразу видно, что не бывал ты у нас, — зашамкал Егор Петрович с набитым ртом. — Не подкован, матчасть не изучил... Возьми у Липки книжки краеведческие, полистай для общего развития. Земли эти вогульскими никогда не были, здесь то волжские булгары хозяйничали, то монголо-татары, клопа им в онучи. А русские лет восемьсот назад пришли, и изгонять их отсель — дурь несусветная...

Застыдил он меня, подавил своей образованностью. Однако от гипотезы своей я не отрекся, ибо знал некоторых шаманов с амбициями. Они бы в сумасбродстве ни перед чем не остановились, дай им волю.

Плотно подкрепившись, мы оседлали «Блэкберн» и двинули к самой крупной реке Кишертского района — Сылве. На ее берегу как раз и обретался тот самый камень вогулов. Ехали большей частью по бездорожью, мотоцикл пару раз увязал в топких лужах, приходилось слезать и выволаки-



вать его на сухую твердь. Птаха придерживал своего мустанга, не давал ему разогнаться. А если б и дал, то это вряд ли бы что-то изменило — разве только влетели бы на скорости в рытвину или в липучую кашу и перевернулись к чертовой матери. Хорошо еще, английская техника была сделана на совесть, выдержала все прелести российской пересеченной местности.

До камня добрались уже в сумерках. Спешились, перевели дух. Егор Петрович минут десять стонал, не мог распрямиться. А я подошел к древней вогульской святыне, осмотрел ее, сравнил в воображении с глыбами, виденными на Крайнем Севере. Они тоже были испещрены рисунками и руническими письменами. Все-таки есть что-то общее в культурах полудиких народов Европы и Азии — и тотемы у них схожи, и мифология, и мировоззрение. Напрасно Егор Петрович не прислушивается к моим допущениям. Вогулы вполне могли разыграть спектакль с факелами и переодеванием. Может, они даже и умысла злого не имели. Таинство у них такое: шествуют по лесам ряженные, духов убаживают...

Участковый Птаха оказался практичнее меня — ничего не разглядывал, не умозаключал. Притопнул каблуком по плохо слежавшемуся грунту возле камня и забухтел:

— Б-б-б-б-б...

— Были они туточки, вижу, — перехватил его мысленный флюид подошедший Егор Петрович. — Ковырялись в земельке, причем не то чтобы давненько, клопа им в онучи... Есть у тебя заступ?

Надзиратель извлек из мотоциклетной коляски саперную лопатку, поорудовал ею, и очам нашим предстала черепная крышка.

— А вот и юродивый... гхы, гхы... Сменил, значица, прописку.

Сопоставив факты, я воздержался от споров. Все указывало на то, что Егор Петрович прав. Череп изъеден тлением, ни о каком свежем убийстве речи не идет. Но сейчас ровным счетом не имело значения, кто здесь погребен — Кушта-Константин или другой покойник со стажем.

«Капать глыбже али как?» — начертал Птаха на дощечке.

— Баста. Ничего там нет для нас познавательного... гхы... Засыпь, как было, заровняй, и айда, хлопцы, в засаду. Застукаем их, когда на гульбище придут.

Мы откатали «Блэкберн» в камыши, там же и залегли. Более надежного укрытия в непосредственной близости не нашлось. Когда совсем стемнело, от реки потянуло сыростью, нещадно жалили комары, зато священный валун был перед нами как на ладони.

Перед выездом сюда я выпросил у Егора Петровича оружие. Он не скаречничал — выдал мне из

личных запасов новенький, весь в смазке, самозарядный пистолет, чем-то похожий на бельгийский браунинг, но во многом отличный от него. Я таких раньше не видел.

— Для гостей ничего не жалко, — с радушной улыбочкой заявил Егор Петрович. — По благу из Тулы прислали. Есть там конструктор-умелец... гхы, гхы... Прилуцкий, клопа ему в онучи. Он эту штуkenцию еще до войны смастерил, теперь дорабатывает. Выпустили опытную партию, передали в армию для испытаний. Ну и мне перепало... Бьет на полсотни шагов, в магазине девять патронов. Пользуйся! А я уж по старинке, с наганчиком...

Я грел в руке маслянистую рукоятку и не спускал глаз с камня. Благодаря своей зоркости видел его до трещинки, да так увлекся разглядыванием этих самых трещинок и сколов, что чуть не прозевал появление главных действующих лиц. Они отделились от стоявшего поодаль ельника и направились к камню. Пятеро, на плечах серые накидки, каждый шаг сопровождается негромкимбряканьем. Несут продолговатый сверток... нет! Это человек, закатанный в подобие ковра: с одной стороны торчат ноги в башмаках, а с другой — голова с нахлобученным на нее мешком. Человек молчит, но он жив — это можно определить по дерганью стоп.

— Ц-ц-ц-ц... — зацокал Птаха нервически.

— Цыц! — оборвал его Егор Петрович свирепым шепотом. — Не спугни!

Люди в накидках свалили ношу под камнем, аккуратно там, где были закопаны останки Кушты. Тихо-тихо посовещались на непонятном мне языке, встали кольцом, и самый высокий из них выдернул из-за обвитого вокруг бедер ремешка саблю. Да! Подлинную, кавалерийскую, еще и наградную, судя по золоченому эфесу. Не иначе прибрал у убитого офицера-беляка.

Мы и ахнуть не успели, как она взлетела и опустилась на лежавшего. Его голова в мешке мячиком отскочила вбок. Палач и его четверо помощников взревели, а мы, не стовариваясь, дали по ним залп. От волнения попали только в одного, и то не на смерть. Он скукожился, схватившись за предплечье, упал на колени, остальные прыснули кто куда.

— Стоять! — мамонтом вострубил Егор Петрович. — Уголовный розыск!

Кто б его послушал! Вогулы, за исключением раненого, всосались в ельник — только мы их и видели. Птаха рванул за ними, стреляя наобум Лазаря, а мы с субинспектором подбежали к мученику, что на наших глазах лишился самого ценного.

Однако нас отвлек задетый пулей вогул. Он повалился наземь и катался с боку на бок, зажимая кровоточащую рану. Егор Петрович вздернул его за шиворот, рыкнул мне:

— Нам теперь этого субчика для суда сберечь надо, клопа ему в онучи! Через него и на сообщников выйдем. Они у нас ответят... гхы, гхы!

Я дал вогулу подзатыльник и, невзирая на скулеж и сопротивление, оторвал рукав его замурзанной рубахи, сделанной из растительного волокна. Ранение оказалось пустячным — свинец проборозил мякоть, кость не задета. Если унять кровь, то через неделю-другую все заживет. Я разодрал оторванный рукав на полосы, скрутил из них жгут, перетянул вогулу руку пониже локтя. Он уже не скулил, тарачился на меня выпученными глазищами. Не вязалось у него в мозгах, почему тот, кто только что в него стрелял, теперь оказывает ему первую помощь.

Но и у меня ум зашел за разум, когда я услышал рядом тоненькое повизгивание. Такие звуки не могли издавать ни Егор Петрович, ни Птаха, а соплеменников моего пациента уже и след простыл. Я глянул вниз и обмер. Обезглавленный пленник дрыгал ногами, сиясь выпутаться из своей упаковки. Это бы, положим, не вогнало меня в оторопь — известно же, что петух с отрубленной башкой даже бегать способен, — но из недр ковра, или что оно там было, доносился тот самый визг, который оторвал меня от медицинской процедуры.

Миг спустя из визга вылупились слова:

— Выпустите! О! Дышать нечем!